

Б. БРАЙНЛНА

Избранное

Б. БРАЙНИНА

избранное



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

Оформление художника
Г. ШИНОВА

Брайнина Б. Я.

Б 87 Избранное. — М.: Худож. лит., 1982. 639 с.

В книгу вошли три работы Б. Я. Брайниной, публиковавшиеся в 1970-х годах, — «Голоса мира» (печатались под заглавием «Федин и Запад»), «Талант и труд» («Критические раздумья о Ф. Гладкозе») и «Поэзия — сердце Болгарии» (печатавшиеся под заглавием «На Старой Планине»).

Все три книги объединяет интерес исследователя к международным связям советской литературы.

4603000000-114
Б 028(01)-82 183-82

8P2

ОТ АВТОРА

В «Избранное» вошли мои книги 70-х годов — «Федин и Запад», «Талант и труд», «На Старой Планине».

Чтобы не перегружать том, мною сделаны значительные сокращения в книге «На Старой Планине»: оставлено только то, что имеет непосредственное отношение к болгарской поэзии. Отсюда и новое название — «Поэзия — сердце Болгарии». Из книги «Федин и Запад» по этой же причине выпали главы «Мера верности» и «Вечный спутник». Новое название, «Голоса мира», представляется мне более точным, чем «Федин и Запад».

Книги, объединенные в «Избранном», едины и по идейно-эстетической концепции и по методологии. Критику-литературоведу приходится быть не только научным исследователем, но в какой-то мере публицистом и беллетристом. Особое значение для меня имеет мемуарный материал. В предлагаемом читателю «Избранном» осуществлен именно такой синтетический метод.

Что касается идейно-эстетической концепции, то здесь прежде всего мною поставлена задача изучения художественных произведений в контексте мировой литературы. В сложной диалектике противоречий, отталкиваний и притяжений, подлинно художественного произведения (чем оно талантливее, тем это ощущается больше) неизбежно слышны многочисленные голоса мира.

Глава первая СУДЬБА АНДРЕЯ СТАРЦОВА

Но стекло не сваривается с железом, и мы не в силах изменить что-нибудь в судьбе Андрея.

Конст. Федин

Все, как всегда, в рабочем порядке: стопы книг, аккуратно сложенные листы бумаги, карандаши и ручки, зеленоватый цвет лампы.

Федин показывает мне только что полученные переводы романа «Города и годы» из Испании, Италии, Японии, Вьетнама, Монголии¹. Он проводит ладонью по суперобложкам книг, будто пожимает руки зарубежным друзьям.

— «Городам и годам» исполнилось пятьдесят лет (речь идет о семьдесят четвертом годе), — говорит он медленно, прислушиваясь к своим словам, — роман мне близок и сейчас. Очень близок. Это то, с чего стоило начинать литературную жизнь.

— Не считаете ли вы, что критики несколько односторонне толковали образ Андрея Старцова: болезненный эгоцентризм, сердце с волей не в ладу, абстрактность этического кодекса, как повелось говорить тогда, мелкобуржуазного интеллигента? На самом деле этот главный герой много сложнее, трагичнее и благороднее, чем нам казалось раньше. Наивны и споры, типичен или нетипичен Андрей

* © Издательство «Советский писатель», 1971 г. под названием: «Федин и Запад».

¹ Роман «Города и годы» переведен на двадцать иностранных языков, на многих из них он издавался неоднократно.

Старцов, представляет он или не представляет дореволюционную интеллигенцию. Не выдерживают критики и разговоры о Курте Ване как о «положительном герое», олицетворяющем революционера-большевика, или другая крайность (совсем пелепая!), бытующая теперь, — что это якобы жестокий сектант, маоист. Мне думается, что Курт Ван — образ, в известной мере противопоставленный Андрею, он как бы символизирует время великое и беспощадное к ошибкам. Потому что борьба была беспощадной — не на жизнь, а на смерть. Нельзя медлить, отступить на шаг. Только «вперед и вверх», как написал в последнем своем письме Андрей Старцов.

— Та пора содержала таких людей, как Андрей Старцов, — замечает Федин. — Они не были ни правилом, ни исключением. Сначала я хотел написать нечто автобиографическое — не получилось. Андрей Старцов — гибель судьбы человека, который не смог по ряду обстоятельств найти себе место в романтике революционной борьбы. Образ сложный и трагический.

— Так называемое «переосмысливание» образа Старцова в оптимистическом плане, как это, в частности, сделано в кинофильме по мотивам «Городов и годов», по-моему, означает и «переосмысливание» всей идейно-художественной концепции романа.

— Возможно, и критики, и читатель в свете современности увидят и новые грани образа Старцова, те, которые раньше ускользали от внимания, но которые безусловно содержатся в романе.

— Теперь разрешите об «автобиографичности». В статье «К роману «Города и годы» вы писали: «Вопрос об «автобиографичности» романа «Города и годы», прямо или косвенно затрагиваемый критикой, может быть верно понят при оговорке, что в широком смысле слова редкий роман не автобиографичен. Было бы заблуждением непременно искать в сюжетах романиста повторение его жизненных испытаний. Но основой характеристик героев всегда будет служить его знание жизни. Он раздает свой жизненный опыт, восполняемый домыслом, героям романа, как композитор раздает голоса инструментам оркестра».

— Но в оркестре есть первая скрипка. Будет справедливым сказать, что она отдана Старцову?

— Возможно. Возможно, — ответил Федин с интонацией несомненного утверждения.

Этот диалог с Фединым побудил меня претворить в жизнь давно созревшее желание написать о «Городах и годах» еще раз. На столе у меня очередное издание романа.

Более полувека — пятьдесят лет — герои его живы, их горячее дыхание рядом, здесь.

Смятенная психология главного героя Андрея Старцова обусловила, как писал Федин еще в 1951 году, «смятенную» композицию романа: сюжет начинается с конца, многогранное сплетение, расхождение сюжетных линий, повествование неожиданно обрывается лирико-публицистическими отступлениями, события, города и годы сменяют друг друга в динамике резких контрастов.

В советской литературе, пожалуй, нет ни одного романа о гражданской войне, где бы так отчетливо слышалась «музыка революции» и в праздниках победы, и в самых трудных роковых ситуациях. По «ветряному», порывистому, переменчивому ритму «Города и годы» своего рода «Двенадцать» Блока в прозе, но с тем философско-психологическим и социально-историческим размахом, который доступен только эпосу.

Предвоенная Германия, империалистическая война 1914 года, Великая Октябрьская революция, революция в Германии, гражданская война, начало эпитафии, — такова в общих чертах событийная канва романа.

Начнем с конца, или, вернее, с начала, — с первой его главы.

1922 год. Петроград. В одном из восьмидесяти шести окон дворового колодца появляется «безастегнутый», трепанный гражданин, заявляющий, что ему скучно, что сердце его грызет тоска. Он произносит патетическую речь, которая заканчивается так: «Добрейшие обыватели, почтенные граждане! Это верно, что на дворе двадцать второй год. Это верно, потому что мы кушаем сметану и простоквашу, учимся играть на домбре и проветриваем перины. Это верно, потому что против перечисленных занятий, как ни мало они революционны, республика не возражает. И, почтенные граждане, не кажется ли вам...» На этом речь гражданина обрывается, а вскоре обрывается и его жизнь — жизнь Андрея Старцова. Обрывается при трагических обстоятельствах: Старцова убивает его друг Курт Вап.

Так и остается неотправленным последнее его письмо-исповедь к любимой женщине Мари Урбах.

Из письма становится очевидным, что перед нами совсем не проницательный гражданин, «ушибленный» эпсом, а нежный, любящий, несчастный человек, сознающий, что с ним «неладно», напрасно мечущийся в поисках хотя бы призрачной надежды на перемены в судьбе.

«Мари, моя маленькая, мне стало ясно одно. Помнишь, раньше мне много представлялось ясным. Сейчас одно: мне нужно сесть с тобой рядом и рассказать все по порядку».

И он рассказывает, правда, не «по порядку» — слишком смятенна, растерзана его душа. Андрей сравнивает себя с собачонкой, которая в жестокую выюгу царапает передними лапами запертую дверь, а хозяин не хочет ее пустить. «Я подошел к двери и увидел на притоптанном снегу красные следы собачьих лапок. Собачонка, царапая дверь, раскровенила себе лапы.

Она не могла понять, что вовсе не нужна на этом свете». Таким же ненужным считает он и себя.

Потом он пишет, что «бросил царапать» после того, как увидел новую радиостанцию, выстроенную во время революции. «Она сначала обрушилась. Ее вывели снова. Негодными инструментами, закусив губы. Вывели. Волны ее достигают Америки.

— Знаешь, — сказал мне мой приятель, — мы теперь выстроим станцию, волны которой опояшут весь земной шар. Москва подает — Москва принимает. Вокруг света».

Андрей тянется к этим строителям, которые «вечно впереди и вверху». Идти в ногу с ними означает для него «стать в круг», принять непосредственное участие в самом главном, жизненно необходимом. И в то же время его пугают их смелость, их упрямая решительность, и они начинают казаться ему какими-то «румкорфовыми катушками».

Он просит понять его и простить, но не говорит, в чем состоит его вина. Не раскрывают объективное содержание вины и финальные слова этого горького письма: «Моя вина в том, что я не проволоочный». Возможно, из его спутанного сознания куда-то уплыл сам факт вины.

В подглавке «Формула перехода» Курт Ван сообщает «комитету», что убил Старцова потому, что тот спас жизнь врагу революции, предал дело, которому служат он, Курт Ван, и его товарищи. «Комитет» единогласно постановил, что Ван поступил правильно, и перешел к очердным делам.

Обвинительная речь Курта была книжной, и говорил он без запинки, по все же «крупинки пота обметали его верхнюю губу».

Так в чем же конкретно состояла вина Андрея и перед любимой женщиной, единственно любимой до конца, и перед революцией, которой он тоже хотел отдать себя и служить до конца? Иными словами, как и при каких обстоятельствах свершились две вины, две измены — и любимой, и революции?

«Как раскроются события, — пишет один из корреспондентов Федина вскоре после выхода романа в свет, — куда приведет автор своих персонажей, какими нитями взаимоотношений свяжет их и в какую зависимость поставит одну подробность от другой — мы не знаем до последних страниц. А между тем события развиваются в логической последовательности, действующие лица поставлены в жизненно понятные и жизненно убедительные ситуации, и ни одна деталь не кажется случайно вставленной, вне связи с десятками других»¹.

Попробуем развязать тугой сюжетный узел первой главы, раскрыть события не так, как они расположены в романе, а в их логической последовательности.

Старцов приехал в столицу из далекой провинции — из Семидола, терзаемый желанием немедленно, тут же, отправиться на фронт.

Вопреки внутреннему надлому, который сразу угадываешь в нем, он шагает широко и уверенно по холодному и голодному городу с мрачными слепыми домами. Мокрый, пронизывающий ветер не пугает, а подбадривает его. Но это лишь вначале. Незащищенный, одинокий, он тонет, кутается, как слепец, в противоречиях, фантастических контрастах, со всех сторон обступаящих его.

Враг революции у ворот. Бесстрашные слова приказа:

ЗА ДЕЛО!

ВСЕ В РЯДЫ!

БЕЙТЕ ТРЕВОГУ, ВРАГ У ВОРОТ!

А через несколько шагов под хмурой лампочкой:

ЗАЙДИ И ПОСЛУШАЙ

СЛОВО ЕВАНГЕЛЬСКОЕ,

ЗОВЕМ ТЕБЯ,

ВХОД ДЛЯ ВСЕХ СВОБОДНЫЙ

И выкрики, всхлипывания перепуганных мешан.

¹ Архив Федина.

А тут еще голод, мечта о краюхе хлеба. По самое страшное — угрызения совести, вызванные невольным предательством: «Если бы можно было начать жизнь сначала... Раскатать клубок, дойти по нитке до проклятого часа и поступить по-другому. Совсем по-другому». Но клубок затягивается все туже и туже — «каждый день добивал его, как ветер птицу».

И все же Андрей не теряет детски незащищенной чистоты сердца и способности сострадать людям.

Он пожалел даже хозяина квартиры, где останавливается, — бывшего действительного статского советника Щепова, тупого обывателя, человеконенавистника и скрягу — и пошел вместо него рыть окопы: «Знаете что? Я пойду вместо вас. Я выспался... Ступайте, скажите, что вместо вас идет другой человек, помоложе...» И, замученный, голодный, борясь со сном, он ринулся в черноту ночи — в «черную прорву холода».

А с какой глубокой человечностью и сердечной нежностью отнесся он к Рите, когда она внезапно присхала к нему из Семидола и сообщила, что беременна. Он никогда не любил Риту (его сердце навсегда полонено любовью к немецкой девушке Мари Урбах) и сошелся с ней лишь потому, что не мог противостоять силе ее любви к нему. И это неумение противостоять, покорность обстоятельствам, как мы узнаем впоследствии, тоже оказалось роковым и в личном, и в общественном плане.

Но в Петербурге в том же 1919-м Андрей пережил и счастливейшие минуты романтической самоотдачи революции. Вот шагает он с маленьким профессором в такт революционной песне, которой нет равной, а потом музыку песни, музыку революции, слышит из уст необыкновенного этого профессора:

«Через сто лет родиться и вдруг сказать: а я жил тогда, жил в те годы! И однажды, сырой, холодной ночью, в Петербурге, в Петрограде, в Питере, рыл окопы вот этими руками, шел по пустынной улице, по городу, который умирал и дрался, дрался и умирал, шел под руку с солдатом Красной Армии, вот этой, вот, вот — смотрите! — вот этой рукой держал вот так красноармейца! Ведь вы красноармеец?»

Услышав утвердительный ответ, профессор внезапно обхватил затылок Старцова и трижды прижался к его щеке дрожащими губами. И этот поцелуй смыл всю смуту, всю тяжесть «проклятого часа» с души Андрея:

«Прекрасно, легко, бесконечно легко! О, если бы сейчас испытать, пережить, почувствовать, что пришло в полях под Саньшином!

— Гони, гоши, гони!»

А в полях под Саньшином (семидольский этап жизни Андрея, о котором автор расскажет позднее) он в первые пережил несравнимое счастье романтической отваги, когда впереди всех ринулся в бой защищать революцию.

Чудом появившийся на его пути «окопный профессор» оказался соседом по дому. При второй встрече профессор «потряс Андрею руку и изумился:

— Какие чудеса! Знаете, прямо не верится. Будто не живешь, а обретаешься в книге, в замечательной какой-то книге. День за днем, страница за страницей — от чуда к чуду... Понимаете, я целую неделю ходил вокруг Смольного. Ходил и смотрел, только смотрел, больше ничего... Как гимназист на свиданье — каждый день в определенный час. И — поверите ли? — хожу, смотрю на дом и чуть не задыхаюсь».

Спустя некоторое время, взвинченный очередной истерически-злой выходкой хозяина квартиры Щепова, Андрей бежит к профессору... и не может достучаться — профессор мертв.

Андрей возвращается с похорон с горьким чувством безнадежности. Профессор, «так нечаянно появившийся в его жизни, унес из нее какую-то последнюю возможность сказать о самом важном. Что это было — самое важное, Андрей едва ли знал. Но у него было такое чувство, будто чья-то жестокая рука держала его за горло, и он понимал, что она не отпустит его, пока он не выскажет самого важного.

Он покинул кладбище после всех... был похож на больного, которого выкинули из лазарета, едва он успел переломить болезнь».

Нет, «окопный профессор» отнюдь не эпизодическая фигура, как полагают некоторые критики. Именно в нем, в его великом даре слушать «всем телом, всем сердцем, всем сознанием» музыку революции, и заключалась возможность другой судьбы Андрея. Но тут же возникает вопрос: если бы профессор роковым образом не ушел из жизни, сложилась бы тогда по-другому судьба Андрея?

Не будем спешить с ответом. И, предостерегая от этой поспешности, автор переключает сюжет романа в девятьсот четырнадцатый год.

Андрей Старцов, совсем еще юноша, в Германии накануне первой мировой войны. Он дружит с талантливым немецким художником Куртом Ваном. Веселые, полные надежд молодые люди поклялись друг другу в вечной дружбе...

Вот прогуливаются они по эрлангенской ярмарке, и Курт обращает внимание Андрея на один из балаганов.

«Курт восхищенно вскричал:

— Смотри, Андрей! Эти усадые, а то и седые люди, эти отцы, матери, может быть, деды и бабки — все это дети, которым игрушка дороже всего. Такой праздник... Такая наивная веселость...

— Подожди, — остановил его Андрей, — что это? Что это, Курт?

— Тир.

Андрей метнулся вперед, потом схватил Курта за руку, прижался всем телом к нему, словно ища прикрытия и защиты.

— Что с тобой, что ты?»

То был совсем не обычный тир: мишенью служили бутафорские головы казненных преступников, а в центре страшная синяя голова убийцы и бандита, «знаменитого истязателя женщин» Карла Эберсокса. К ней под общий гогот обращались панибратски, с фамильярной ласковостью: «Карлочка, Карлуша, Карлик».

Андреем овладел испуг. То, что для Курта детская игра взрослых, вызывает у Андрея ужас, и он именно у Курта ищет «прикрытия и защиты». Опомнившись от страха, говорит, заглядывая ему в глаза: «Во всяком случае, дети так не развлекаются».

Этот эпизод очень значителен для понимания тех трагических противоречий в характере Андрея, которые привели его к гибели и которые определились в нем задолго до революции: с одной стороны, доброта и чистота сердца, мгновенная реакция на жестокость, а с другой — полная незащитность, болезненная изнеженность воли. Ему нужен сильный, волевой друг, потому он любит Курта, тянется к нему, ища у него защиты. А Курт при всей своей эмоциональной глухоте (в данном эпизоде!) любит нежное сердце Андрея, дружит с ним вопреки эпатирующему заявлению, которое он делает впоследствии, что дружба — «мистическое что-то».

Курту придется долго воспитывать себя, чтобы стать

революционером в полной мере, вернее, революция будет воспитывать его.

Трагические противоречия в характере Андрея отчасти являются, как можно предположить, результатом сугубо тепличного, интеллигентского воспитания, а эмоциональная глухота Курта — следствие подспудных влияний сытой, тупой шовинистско-милитаристской среды, которую он так органически возненавидел потом, пройдя через войну и живительное действие русской революции.

Неосознанные, подспудные шовинистические настроения и управляют поведением Курта в первые дни объявления войны; ими же вызвана внезапно вспыхнувшая ненависть к Андрею, казалось, навсегда вытеснившая дружбу.

Андрей измучен, хочет узнать причину, почему Курт избегает его, он неоднократно посещает Курта и, не застав дома, оставляет тревожные записки, наконец настигает его в трамвайном вагоне. И здесь происходит между ними последнее объяснение на немецкой земле:

«— Я ненавижу тебя, Андрей... Я должен ненавидеть! Уходи. Прощай... Уходи же!

— Ты говоришь наперекор рассудку, наперекор сердцу!

— Сердцу? Сердцу? — кричит Курт и поднимается с сиденья. — Уходи, оставь меня. Нам не о чем говорить. Уходи же!.. Иначе я закричу на весь вагон — кто ты, и тебе...

— Кричи, кричи! Я не сделаю ни шага!

Они стоят лицом к лицу, не сводя друг с друга упрямых глаз, и лица их бледны, перекошены напряжением, покрыты потом.

— Я жду.

Курт молчит.

— До свиданья, Курт. Ты опомнишься, я знаю.

— Я не лицемер. Прощай, — говорит Курт, отвертываясь от Андрея».

Насколько в этом диалоге Андрей человечнее, великодушнее своего друга!

Потом новая, неожиданная встреча в 1918-м в революционной Москве с Куртом-большевиком, солдатом русской революции.

«— Андрей?

— Курт, Курт!

Тогда солдат рванулся к Андрею, зажал его голову в ровных, прямых своих руках и еще тише проговорил:

— Андрей, милый друг... А теперь прошу тебя сказать мне прямо, что я был скотиной... в Нюрнберге, в трамвае.

Андрей обнял его и рассмеялся.

— Нет, нет! — вскрикнул Курт, отстраняясь. — Ты должен мне сказать, что ты тогда думал!

— Мне было страшно. Я чуть не плакал, когда вспоминал тебя... каким ты тогда был...»

Разрыв с Куртом — лишь первый удар, а сколько их было потом, еще более страшных.

Андрея задерживают в Германии как гражданского пленного. То был тоже «проклятый час» его жизни. Он изнывал под игом агрессивной и тупой жестокости, которую принесла людям война.

И совсем стало невыносимо ему после встречи с пленными слепыми итальянцами, взятыми под Триестом.

«Ноги волочили оборванные тяжелые опорки и шаркали по земле, почти не поднимаясь над ней. Люди раскачивались из стороны в сторону, кучились, патыкались друг на друга. Руки их непрерывно вытягивались, ощупывая пространство и упираясь в спину и локти ступавших впереди.

Андрею бросился в глаза один солдат. Его голова была повернута вбок и подергивалась на длинной шее, как на нитке. Он точно вслушивался в то, что приближалось к нему с каждым шагом. Лицо его было сведено в гримасу, рот стиснут так крепко, что челюстные мышцы выпячивались, как скулы. В черном круге ресниц стекленели остановившиеся глаза».

Андрей закричал от ужаса. И ему померещилась страшная голова Эберсокса, а по синему лицу убийцы текли слезы.

Так эпизод с тиром в начале главы о девятьсот сорокадвух превратился в символ милитаристской жестокости, символ проклятия войне.

Эту страшную картину вильгельмовской Германии в первую мировую войну дополняет, переводит в прозаический план самых обычных для того времени, неоспоримо реальных фактов коллекция газетных вырезок, систематически подобранная неким бельгийским гражданином Перси, а вернее, самим писателем Федным.

«Штадтрату города Бишофсберга в числе документов, отобранных при обыске в комнате бельгийского гражданина Перси, была представлена тетрадь в голубом бу-

мажном переплете с изображением национального бельгийского флага в левом углу переплета, у корешка. Тетрадь была украшена надписью:

*На память об ангажементе без контракта.
Отзывы критика о гала-представлении без
моего участия*

Текст состоял из газетных и журнальных вырезок, аккуратно наклеенных и снабженных тщательными указаниями на источник. Никаких комментариев нигде не было. Отдельные заметки были обведены чернилами. Вероятно, они казались monsieur Перси наиболее замечательными. По крайней мере некоторые из них остановили внимание штадтрата, и он отметил их красным карандашом. Вот они.

Если бы Иисус из Назарета, проповедовавший любовь к врагам, снова пожелал сойти на землю, он, конечно, вочеловечился бы в немецком отечестве. И — как вы полагаете? — где его можно было бы встретить? Неужели вы думаете, что он возглашал бы с церковной кафедры: многогрешные немцы, любите врагов ваших? Я уверен — нет! Нет, он был бы в самых первых рядах бойцов, сражающихся с непоколебимой ненавистью. Он был бы там, он благословил бы кровавые руки и смертоносное оружие, он, может быть, сам взялся бы за карающий меч, изгоняя врагов Германии далеко за пределы обетованной земли, как он когда-то изгнал торгашей и барышников из Иудейского храма.

(«Воспитатель народа»)

...Отныне никто не в состоянии уклониться от логического вывода, что примирение было бы катастрофой, что единственной возможностью стала война. До сих пор — ответ на вызов, дело чести, средство к цели, отныне война становится самоцелью! Вся нация, как один человек, будет требовать вечной войны!

(«Мюнхенский медицинский еженедельник»)

Воспитание ненависти! Воспитание уважения к ненависти! Воспитание любви к ненависти! Организация ненависти! Долой детскую боязнь, ложный стыд перед зверством и фанатизмом! Да будет и в политике по слову Маринетти: побольше оплеух, поменьше поцелуев! Мы не смеем колебаться объявить богохульно: наше достоинство — вера, надежда и ненависть! Величайшее среди них — ненависть!

*(Советник медицины доктор В. Фукс,
старший врач Государственной Баденской
психиатрической лечебницы в Эммендингене)*

Штадтрат просидел над голубой тетрадью до глубокой ночи, прочитывая одну вырезку за другой. Их было мно-

го, они были наклеены без порядка, и люди, образы, идеи, анекдоты сыпались на штадтрат, точно погремушки из кузовка елочного деда, — уродливые, расцвеченные, искаженные, цирковые. Штадтрат отточил ножичком красный карандаш и острыми буквами написал на голубой обложке:

«Собранные в этой тетради заметки не представляют собой военной или государственной тайны, как опубликованные в печати. Однако тенденциозный подбор газетных сообщений указывает на враждебные чувства собирателя к Германии и мог бы, при удобных обстоятельствах, оказаться на руку противнику. Поэтому считаю пужным передать бельгийского гражданина Перси военным властям».

Некоторые литераторы полагали, что эти газетные вырезки не реальные факты, а выдумка, «литературная находка» автора. Но я утверждаю со слов Федина, что это самые реальные газетные вырезки, которые Федин осенью 18-го года положил в свою котомку, возвращаясь из германского плена на родину.

Искусство автора, его «литературная находка» состоит в умении подобрать факты и так их включить в художественную ткань романа, что они создают образ времени, образ немецкой жизни тех лет.

Почти во всех странах Западной Европы во второй половине 20-х годов появились книги о первой мировой войне, обличающие империализм и милитаризм, рассказывающие о кровавых ужасах этой войны, о ее жертвах.

Много выдающихся произведений на эту тему вышло в самой Германии. Хочу напомнить «Девятое ноября» Келлермана, «Войну» Людвига Ренна, роман Генриха Манна «Голова» и «На Западном фронте без перемен» Ремарка, потому что именно эти книги в подходе к военной теме были близки Федину. В письме аспиранту, опубликованном в книге «Писатель. Искусство. Время», он писал о романе Ремарка: «Никто, кроме нашего поколения, не способен понять этой книги до конца. Некоторые моменты чтения чувствовал себя так же, как осенью 1918 года, когда после четырехлетнего плена пробирался через Германию на родину с котомкой за спиной. Что нам оставалось в этом мире? А ведь я в тысячу раз «счастливее» солдат, которые вынесли войну на своих плечах...»

Общность материала (кайзеровская Германия в первой мировой войне) вызвала общность некоторых мотивов.

вов и ситуаций. Но следует отметить, что немецкие романы вышли позже, чем «Города и годы». К примеру, «На Западном фронте без перемен» появился в 1929 году.

«Я отметил несколько мест у Ремарка, — пишет Федин в том же письме, — удивительно совпадающих с отдельными мотивами в моих «Городах». Особенно поразительное совпадение эпизодов с пением и «дисциплиной», диалогов о нации (стране) и «оскорблении». Во многом есть однородность стилистическая — ритмика, тональность (патетические — «о, жизнь, жизнь, жизнь», у меня — «о люди, люди, люди» etc). Странно, это меня удовлетворяет, даже наполняет каким-то умилением: именно в этом ритме чувствовал я, именно *эти* мотивы заполняли меня, я уловил их верно, они были свойственны тому времени, были *законом*. В распознавании этого закона я не допустил ошибки. В военной части «Городов» фальши нет».

...Едва ли Андрей с его болезненной неспособностью внутренне противостоять злу, с незащищенностью его духовного мира перенес бы плен в военной Германии, если бы неожиданным чудом не явилась Мари.

Мари, Мари, Мари — отныне она завладела всем его существом, становится единственным счастьем навсегда и единственным спасением.

Незадолго до конца войны Андрею объявили, что он может возвращаться на родину. Этот желанный час, о котором он мечтал долгие годы, оказался горьким, пропизанным тоскою — он должен был расстаться с Мари.

«Они сидели, обнявшись, в комнате, которая стала для них из тюрьмы волей, и покинуть ее навсегда было так же жутко, как думать о разлуке.

Они смотрели остановившимися глазами на изученные вещи, и все расплывалось перед ними в какой-то пустоте, как будущее, которое им предстояло.

И, чтобы отпугнуть от себя самое страшное, они повторяли друг другу непонятные, непонятые слова:

— Конечно, мы встретимся.

— Конечно, Мари! Ведь все идет как нельзя лучше.

— Я не сомневаюсь ни на минуту, Андрей.

— Я уверен, Мари, я совершенно уверен!

Потом их лица касались горячими щеками, пальцы перебирали запутанные волосы, и притихшая комната повторяла их сдержанное согласное дыхание.

— Ты напиши с дороги.